



В. А КОЖЕВНИКОВ

<Из письма А. К. Горскому о последних часах жизни Федорова>

...Свойства болезни (воспаление, а затем отек легких) сделали предсмертную беседу невозможной для него, хотя он и силился говорить: последние сутки он был в забытьи.

Агония была тяжкая и длительная. Но до этого он много говорил, хотя и с трудом уже, с посещавшими его друзьями, несмотря на запрещение разговаривать врачами. Просили и мы его не утруждать себя, но, с другой стороны — как было заграждать уста, не устававшие взывать к величавому, к благородному, к святому? Забывали и мы запрет, жалость к страдальцу сменялась благоговейным вниманием к наставлениям, представавшим в еще большей красоте духовной потому, что — мы чувствовали — то были последние советы, последние заповеди, последние благословения. Ни слова о себе лично, ни о болезни, ни о близком уже конце жизни; лишь изредка (наедине) он промолвил мне: «Кажется — это — последнее!» или, очнувшись от сна (как и раньше часто, когда после обеда засыпал на час у меня дома), шептал: «Должно быть, и “то” так же будет», разумея под этим «то» промежуток между смертью и воскресением, *применительно к телу* и его ощущениям. Никаких так называемых «распоряжений», рукописи были переданы мне ранее, иного ничего не было, последние гроши роздал тут же, в больнице, убиравшим палату или сиделкам. И так, о себе — ни слова: все мысли и речи о «деле». С ним он не расставался до последней минуты сознания.

Видимо, хотелось говорить много, но кашель и укороченное дыхание мешали, приходилось ограничиваться краткими указаниями.

Его внимание сосредоточивалось главным образом на вопросах, составлявших содержание двух последних статей.

Одна из них предназначалась для «Нового пути». «Путь» обещал напечатать, но с урезками, с выборками «подходящего»

и будто бы «сходного» с тенденциями некоторых других сотрудников¹. Против урезывания или «уродования» статьи он гневно восставал, видя в «подборе подходящего» под известную тенденцию проявление нетерпимости у защитников терпимости. Возможности же сходства и совпадений не признавал: его *путь*, говорил он, — *старый*, раскрывающийся в исконном *народном*, естественном и *церковно-православном* понимании. «Нового» пути к истине и к смыслу и цели жизни быть не может. Но важнее, дороже была ему, бесконечно даже дороже, другая тема — о *Серафиме Саровском*. О нем писал он свои последние строки, о нем диктовал статью, которую озаглавил «Народный Святой»². Тут были великие, проникновенные мысли; все связанное с этим «крестьянским», истинно русским, народным святым, особым читателем Воскресения, встречавшим каждого словами «Христос воскрес!», — все связанное с ним было для него бесконечно дорого и священно и глубоко учительно.

На мотивы этой-то статьи говорил или силился говорить под конец он, противопоставляя серафимовскую простоту и девственную чистоту хитроумным, бессодержательным «новым» измышлениям умов, отчуждившихся от народного, родного, церковного³. На этих указаниях, на этих и среди страданий не покидавших его стремлениях смолкла в агонии его речь, но уста еще долгие часы шевелились невнятно и бессильно и горели во взоре недосказанные думы. Жалостливо-величава была и эта беззвучная беседа...

...Он скончался без сознания часов в 6 утра...

